

тый таким образом не смел кому-либо пожаловаться. И впрямь, кому пожалуешься, что не удалось смошенничать? Таким образом, безошибочно спекулируя на человеческой жадности и тому подобных пороках, наш «аферист», выступая в роли карающей Немезиды хищничества, в то же время основательно штрафовал эти пороки в свою пользу и неплохо «кормился» приносимой ими золотой рентой.

Правда, все те «полезнейшие» достижения блатной криминальной науки, которыми здесь напоследок снабдила меня тюрьма, к счастью, не пригодились в жизни. Но послушать о них было занятно. Занятнее всего, однако, показался мне красочный рассказ рабочего-торфяника о том, как он совершенно для себя неожиданно попал в нашу тюремную компанию. Вот этот рассказ почти в стенографической точности: торфяники гуляют. Попадают в лапы полиции. Их немилосердно избивают. Трещат скулы и ребра. «Почем забиваешь гвозди-то?» — освежомляется с юмором висельника наш герой. Затем он теряет сознание и вновь приходит в себя уж на кладбище, в чьей-то могиле — «под памятником». Удивляется. «Вот тебе фунт!.. да никак я уж умер...» Лезет в карман и нащупывает кисет с табаком. «Эге! — соображает вслух, — значит, жив еще, коли кисет тут». Отправляется в другой карман — за спичками. Не находит, но не унывает. «Нет, должно быть, жив еще. Коли б спички были, так и закурил бы ведь». Рассвetaет. Наш герой вылезает из ямы, в которую ночью попал в беспамятстве, и идет разыскивать своих друзей. «Не видал, где тут наши торфяники?» — спрашивает у городового. «Да вот они здесь гуляют», — указывает на кутузку коварный городовой. «Здесь наши, что ль?» — вламывается он туда без разговоров. «Здесь, здесь, тебя только недоставало...» — хлопают его по загривку и гостеприимно припирают. А завтра, недосчитавшись нескольких ребер по вытрезвлении, он уже оказался в тюремной больнице. «Вот и вся недолга!» — закончил он свою эпопею.

В таком «избранном» обществе я весело провел, оправляясь от голодовки, свои последние дни в тюремной больнице. 22 февраля 1902 г. я уехал уже в Вологду, препровождаемый туда «в одиночном порядке» (с провожатым) выжидать, запоздавший приговор.

9. ОТ ВОЛОГДЫ ДО ПАРИЖА

В Вологде я нашел весьма многолюдную колонию политических ссыльных. Там был блестящий партийный трибун Анатолий Васильевич Луначарский, один из организаторов и участников первого съезда РСДРП — П. Л. Тучапский, видный большевик И. А. Саммер. Отбывали ссылку историк декабристов П. Е. Щеголев, известный философ и экономист А. А. Богданов (Малиновский), философ-идеалист Н. А. Бердяев, а также будущий лидер эсеров Савинков. Интересную фигуру представлял собой также будущий писатель А. И. Ремезов. Целый выводок крупных статистиков из бывших и сущих ссыльных ютился и в вологодской земской статистике, во главе которой стоял П. П. Румянцев. Его ближайшими помощниками были С. А. Суворов, П. И. Фомин, О. А. Квиткин, Я. Бляхер, Я. В. Принцев и др.

Нуждаясь в заработке, и я с первых же дней пребывания в Вологде нашел работу счетчика в статистическом бюро у Румянцева.

Быстро перезнакомившись с товарищами по ссылке, я охотно в свободные часы искал их общества, с интересом слушал горячие дебаты, то и дело возникавшие по разным поводам в этой среде, и сам изредка принимал в них участие. У Веры Глебовны Успенской почти всегда можно было встретить П. Е. Щеголева, Ремезова и еще двух-трех членов колонии. Часто обсуждались тут литературные новинки

А. М. Горького, Л. Андреева и других художников слова. Иногда вспыхивали и философские схватки с Бердяевым, все глубже сползвшим с позиций марксизма в пучины «неометафизики». В этих спорах, нашедших отражение и в тогдашней печати¹, талантливый Бердяев нередко полемизировал с блеском и подъемом, но его красивое нервное лицо все чащеискажалось при этом пугающими гримасами тика. За него становилось жутко и больно. И спор угасал сам собою. Не раз к нам приезжали гости со свежими столичными и заграничными новостями. Плотно закупоренный на целых тринадцать месяцев как в консервной банке в стенах тюрьмы, я не знал и многих давно уже устаревших новостей. Так, например, я только слышал в тюрьме о выходе в свет еще с декабря 1900 г. первых номеров ленинской «Искры» и журнала «Заря» (с 1901 г.), но не видел еще ни одного номера этих замечательных изданий. Об издании в январе 1901 г. «Революционной России» — органа вновь образованной «Партии социалистов-революционеров» — я до выхода из тюрьмы и не слыхивал. А здесь, в Вологде, мы не только получали все подобные издания, но и авансом узнавали о подготовляемых к выпуску новых. Например, об «Освобождении» П. Струве — заграничном органе русских либералов, — появившемся впервые не раньше июня 1902 г., в Вологде было известно уже в апреле.

Особое внимание Савинкова, еще по старой памяти называвшего себя социал-демократом, привлекали вести о возрождающихся в революционных кругах России террористических настроениях. Промышленный кризис 900-х годов не только оплодотворил массовое рабочее движение новыми формами *политической* борьбы. Вместе с тем, обостряя политические настроения и радикальной интеллигенции, он толкал отдельных, наиболее оторванных от масс ее представителей и на такие острые формы политической борьбы, как индивидуальный террор. Таким индивидуальным актом был, несомненно, и выстрел П. В. Карповича 14 февраля 1901 г. в министра народного просвещения Богоlepова, сдававшего студентов целыми сотнями в солдаты, и, по-видимому, также выстрел С. В. Балмашева 2 апреля 1902 г. в министра внутренних дел Сипягина. И Карпович и 20-летний юноша Балмашев были сами участниками студенческих волнений и жертвами последовавших за ними репрессий. Эти акты возмездия за поруганные права и человеческое достоинство многих были встречены с огромным сочувствием не только в рядах студенчества, но и в широких кругах так называемого либерального общества. Но это была неорганизованная борьба. И Савинков в суждениях об этих актах в узком кругу собеседников все решительнее склонялся к мысли о необходимости и своевременности организационного оформления данной формы борьбы. Очень характерно, кстати сказать, что активное сочувствие террору Савинков (впоследствии ярый контрреволюционер) в ту пору совмещал с одновременным преклонением перед учением Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием, которое он трактовал как высочайшую мораль будущего.

С этой его позицией я никак не мог согласиться. Рано или поздно, думалось мне, мы ведь упраздним-таки действующую ныне систему господствующего насилия. И тогда при отсутствии такого зла мораль непротивления ему станет беспредметной. Мораль Толстого в своем требовании не противопоставлять злой силе равное ей зло в виде ответного насилия предполагала господствовавшую тогда систему общественных отношений. Это не мораль будущего, а мораль навеки прими-

¹ См. коллективный сборник «Проблемы идеализма» и такой же коллективный ответ на него в «Очерках реалистического мировоззрения».

рившегося со своей участью безропотного раба. И восхвалять эту рабью мораль революционеру не пристало. Что же касается террора, то, отнюдь и от него не зарекаясь принципиально, я все же не склонен был особенно переоценивать его роль в революционном движении. Прежде всего мне было ясно, что при самой высокой оценке индивидуальных актов, подобных героическим выступлениям Карповича и Балмашева, они в арсенале средств борьбы *партии пролетариата* не могут идти ни в какое сравнение с такими гораздо более ей свойственными и действенными методами борьбы классов, как, скажем, всеобщая стачка, завершающаяся вооруженными восстаниями. А между тем, признав за террором хотя бы серьезное подсобное значение, его пришлось бы серьезно организовать, создав наряду с общими массовыми организациями партии и специальные боевые ячейки террористов. Рискуя головой, и уже поэтому окруженные ореолом героизма, они, несомненно, отвлекали бы от *важнейшей*, хотя и менее показной, работы в массах не малые и, может быть, даже лучшие силы.

Но допустим, что и такое отвлечение окупилось бы результатами. Меня смущало другое. Я сильно сомневался, приемлемо ли вообще для демократической партии такое своеобразное разделение труда, по которому избранная кучка «героев» в повседневных боях жертвует своими головами, в то время как рядовая «толпа» их соратников, загруженная мирной работой, восхищенно приемлет эти жертвы. Правда, такая концепция вполне гармонировала с представлениями народнической «субъективной социологии» о роли «героев и толпы». Но мне она казалась оскорбительной для демократических чувств всего рядового состава партии. А вместе с тем лично я и по моральным основаниям едва ли смог бы спокойно отаться «мирной» работе, зная, что рядом со мной мои товарищи по партии, занимая гораздо более опасные боевые позиции, повседневно рискуют не только свободой, но и собственной головой. Это было бы, на мой взгляд, не по-товарищески. Между тем подобные настроения явно угрожали бы основным задачам массовой партийной работы.

Презрев все эти опасности и отдавшись вскоре целиком террористической деятельности в роли основного режиссера всех «подвигов» боевой организации партии эсеров, Савинков наткнулся еще на одну и, может быть, самую горькую опасность, став слепой игрушкой вместе со всей своей организацией в руках подлеяшего авантюриста-провокатора. В наших вологодских беседах, впрочем, эта опасность не предусматривалась. Хотя поводом для этого и могло бы послужить одно дело, всех нас близко коснувшееся.

В Вологду прибыл в качестве ссыльного некто Рума, бывший член Московской партийной организации, заподозренный товарищами в предательстве и провокации. Некоторые сведения мог о нем дать ссыльный Русанов, тоже бывший член той же организации. Но его показания были весьма неопределенны. Сам Рума настаивал на товарищеском разборе своего дела, для чего в конце концов колония выделила специальную комиссию, включив в число ее членов и меня. Из показаний самого Рума выяснилась такая картина его грехопадения. Начальник московской охранки Зубатов, очень широко пользовавшийся системой провокации, предлагал чуть ли не поголовно всем арестованным революционерам включиться в его агентуру. Такое предложение получил и Рума. На категорический отказ Зубатов ответил предложением «подумать» и заверением, что он не потребует от Рума никаких сведений о лицах и вообще ничего компрометирующего кого-либо из его товарищей по работе, ему нужна информация лишь об «идейных» течениях и настроениях в рабочей среде организации. По словам Рума, он после долгих колебаний признал эти условия для себя приемлемы-

ми в надежде, что и он от Зубатова сумеет выудить информацию, полезную для рабочего движения. В дни «Народной воли» бывали примеры самоотверженной службы революции мнимых агентов полиции, подобных Клеточникову. Но Клеточников взял на себя эту роль с ведома партии. Рума, находясь в условиях строгой изоляции, принял свое решение на собственный страх и риск. Получив этой ценой свободу и даже грошовую денежную мзду авансом, от которой не посмел отказаться, чтобы не возбудить подозрений Зубатова, Рума после нескольких бесплодных с ним свиданий понял, однако, свою ошибку и порвал всякие сношения с охранкой. А Зубатов в отместку, выслав его в Вологду, позаботился и о том, чтобы обеспечить за ним репутацию провокатора.

Трудно было нам проверить точность этих, по-видимому, весьма чистосердечных признаний Рума, хотя они были вполне правдоподобны и чрезвычайно поучительны. Осудив совершенно непозволительные при любых условиях действия Рума и потребовав от него безусловного отказа от какого-либо дальнейшего участия в революционной деятельности, мы вместе с тем пришли к выводу, что лучшим противоядием против подобных трюков охранки была бы тактика общего отказа заключенных от всяких показаний и собеседований с жандармами и даже отказа от поездок к ним на допросы. И нужно сказать, что эта тактика с дальнейшим подъемом движения действительно становилась все более распространенной.

По сравнению с Усть-Сысольском, куда я должен был отбыть по получении приговора, Вологда была весьма оживленным культурным центром. Интересные люди и встречи незаметно отвлекали меня здесь от помыслов о завтрашнем дне и планов серьезной работы. Порядочно отвлекали от них и мои повседневные, притом довольно нудные, упражнения в счете на арифмометре и тому подобных приборах, хотя эта практика и пригодилась впоследствии. По вечерам я навещал кого-либо из ссыльных и мы обменивались мнениями о злобах дня. Иной раз они знакомили меня с вологодскими старожилами, среди которых попадались еще даже богатырского склада женщины, хаживавшие не раз с рогатиной в одиночку на медведя. Иногда я внимал жалобам чудаковатого Ремезова на Максима Горького, не одобравшего художественных опытов этого декадента. А сам Ремезов тем временем с неподражаемым каллиграфическим искусством отображал на изготавливаемых им тут же визитных карточках индивидуальный «характер» своих слушателей. Карточки получались очень изящные, а характер в своеобразном начертании имен и фамилий каждого из нас — порой весьма причудливым и оригинальным. Помнится, что мой «характер» был изображен чрезвычайно прямолинейно-остроугольными чертами.

Много чаще, однако, я проводил вечера дома за коллективным чтением новинок литературы, которые нам обычно доставляла очень славная девушка, переводчица польской литературы, Броновицкая, или на реке — в благоприобретенном мною ялике с провоцирующим наименованием на борту — «Красотка». Когда я катал на нем вечерком юных девушек и со встречных лодок наш ялик приветствовали взглазами: «Красотка, красотка!..», мои девушки, неизменно принимая эти возгласы на свой счет, краснели, как мак, и конфузились до слез. Обычный наш спутник в таких прогулках старый холостяк Яша Принцев указывал иногда девицам на подводившую их надпись на борту ялика и бойко запевал на популярный мотив из оперы «Снегурочка»:

— Девки глупые, с ума вы, что ль, сбрели!..

А девушки, оправившись от смущения, отвечали ему в отместку другим, не менее популярным напевом:

Понапрасну, Яша, ходишь,
Понапрасну ножки бьешь.
Ничего ты не получишь —
Дураком домой пойдешь.

Одним словом, житье наше в Вологде было привольное. Но я совсем не собирался долго здесь засиживаться. Списавшись с товарищами, я только ждал присылки обещанного паспорта, адресов и явок, чтобы немедленно испариться из этих привольных палестин и вернуться к прежней подпольной работе. Ждать, однако, пришлось долго-гоночко. Только в конце июня меня навестили здесь долгожданные земляки. Сначала Ваня Щеглов, доставивший нужные адреса и явки, но, увы, без паспорта, а затем еще более желанная гостья — Соня Голощапова, та самая, которой мне никак не удавалось когда-то сказать толком «милая!..», но с которой меня уже много лет связывали незримые цепи взаимного тяготения, неизмеримо более сильного, чем тяготение небесных тел по закону Ньютона, хотя и вполне земного. На этот раз мы поняли друг друга и без слов. И хотя она через пару дней покинула меня еще раз, но только затем, чтобы скоро стать уже неразлучным спутником моих скитаний на всю жизнь.

С отъездом этих друзей мне уже нечего было делать в Вологде. Откланявшись кому надлежало перед отъездом, захватив с собой для подпольной печати нелегальную брошюру Малиновского¹ и еще кое-что, я уже 8 июня 1902 г. без всяких приключений бесследно улетучился из Вологды. По «приговору», которого я так и не дождался, мне надлежало отбыть здесь, как выяснилось позже, всего 3 года. Приговор — легкий. Но мне никогда не пришлось жалеть о том, что я сократил его на пять шестых.

Добравшись из Вологды в Петербург, я был полон надежд сразу войти в работу. Но меня ожидало большое разочарование. Большинство данных адресов после очередного провала оказалось недействительными. Снабдить меня паспортом и здесь никто не мог, а без паспорта в столице невозможно было прожить и трех дней. Мне посоветовали уехать на время за границу, где и поучиться можно было многому, да и паспорт надежный для подпольной работы раздобыть было легче. Иного выбора не было. Путешествие представлялось к тому же весьма заманчивым. Неведомое всегда заманчивее изведанного. Манила и сама заграница и возможность встреч с такими вождями движения, как Плеханов, Ленин и др. Деньжонок на дорогу за полгода службы в статистике я сэкономил немногого. И потому, получив необходимые инструкции и кое-какие партийные поручения за границу, я без особых раздумий отправился в путь.

Маршрут за отсутствием связей на западной границе пришлось избрать весьма необычный — через Архангельск. По дороге ко мне присоединился примерно по тем же соображениям еще один беглец из ссылки — наш земляк Е. М. Тарасов. Прибыв в Архангельск, мы узнали, что ближайший пароход в Норвегию отправится только через неделю и что за отсутствием паспорта нам всего безопаснее провести эту неделю, съездив на «богомолье» в Соловецкий монастырь. И мы воспользовались этим советом. У монахов было два собственных парохода — «Зосима» и «Савватий» — и огромное монастырское хозяйство на острове, требующее много рабочих рук. Пароходы регулярно доставляли в Соловки сотни богомольцев, которых там охотно кормили и поили без всякой прописки в монастырской гостинице, довольствуясь лишь добровольными их даяниями в монастырскую кружку, да еще

¹ Опубликована за границей под названием «Рядовой. Солдатская памятка».

тем, что наиболее молодые из богомольцев неизменно получали от святых отцов на исповеди одно и то же «послушание»: потрудиться, глядя по грехам в течение того или иного срока — разумеется, тоже безвозмездно — в монастырском хозяйстве. Не чувствуя за собой особых прегрешений, мы с Евгением, однако, не пошли к святым отцам за «послушанием» и провели в этой тихой обители несколько дней отдыха в самом лирическом безделии. Мы бесцельно бродили по пустынным берегам острова, любуясь по утрам его волшебно-туманными очертаниями. Днем мы неоднократно купались в Белом море в причудливом окружении узорчато-призрачных медуз или кормили на берегу прямо из рук до наглости здесь смелых и без меры прожорливых морских чаек. Было любо смотреть, с какой грацией, ловкостью и молниеносной быстротой эти крикливые прожоры подхватывали в любом направлении брошенный им кусок хлеба. Мой Евгений подолгу молчаливо мечтал в единении с дикой природой острова, а я, изловив какого-нибудь обленившегося монаха, пытался познать, чем живет и дышит этот оригинальный хозяйствственный коллектив. Так незаметно пролетела неделя, и мы снова очутились в Архангельске.

Выехать отсюда за границу не только без заграничного, но и вообще без всякого паспорта оказалось проще пареной репы. Мы сели на пароход, заплатив за проезд до Печенги, последнего порта в границах русских владений. А в Печенге, не сходя с парохода, взяли билеты до Варде в Норвегию. Решительно никто не поинтересовался нашими паспортами. Погода нам благоприятствовала. Солнце сияло. И мы с Евгением в качестве самых дешевых, палубных пассажиров получили редкую возможность даже в 12 часов ночи — без всякого искусственного освещения, пользуясь только солнечным светом — коротать время на высоте Нордкапа хоть на всю ночь за шахматами. В Варде, малюсеньком городишке, насквозь провонявшем тухлой рыбой, мы пересели на другой пароход, направлявшийся в Гамбург. Наш пароход, огибая всю Норвегию, заходил во все крупные порты, про бираясь по живописнейшим шхерам и фиордам. Заходя в Тромсе, Тронхейм, Берген, мы с интересом наблюдали своеобразную архитектуру этих городов с живейшими следами средневековья. Голубое небо, отраженное в зеркале вод глубоких фиордов, изумрудная зелень берегов с белой пеной прибоя на сером фоне окружающих скалистых громад. И все это играет на солнце всей гаммой своих красок. Нас поражала несвойственная среднерусскому «левитановскому» пейзажу яркость этих красок. В немецком море, однако, погода резко ухудшилась, и нас сильно потрепало не только бортовой, но и кильевой качкой. В Гамбурге мы пересели с парохода на поезд и, доехав до Штутгарта, сделали здесь первую остановку.

В Штутгарт нам была дана явка в так называемый заграничный «Красный Крест», опекавший беглецов из России. Представителем его в Штутгарте оказалась неожиданно для нас жена Петра Струве, который недавно поселился здесь в качестве редактора издававшегося у Дитца «Освобождения». Внезапное превращение недавнего автора партийного манифеста РСДРП в литературного барда пошлого российского либерализма не могло обеспечить особой привлекательности наших с ним встреч. Но избегать их тоже не было особых оснований, тем более, что П. Б. Струве не прочь был использовать наши услуги для приведения в порядок своей большой библиотеки, а наша тощая касса не позволяла нам отказываться даже от самого скучного заработка. Работа была нелегкая. Нужно было распаковать прочно сбитые гвоздями деревянные ящики с книгами, перетащить несколько тысяч томов из подвала в квартиру и разместить их там по указанной системе на полках. Работы хватило бы и на месяц, но, стремясь с ней поскорее

разделаться и уехать отсюда, мы вдвоем с Е. Тарасовым, трудясь с раннего утра до позднего вечера, как ишаки, справились с ней за неделю. Уплатил нам наш именитый соотечественник за работу по самой скромной *поденной* расценке чернорабочего. Но мы и не ждали большего и даже радовались, что ему ни разу не пришло в голову за эту неделю пригласить нас в порядке русского хлебосольства к столу или попоить хотя бы чашкой чаю. За границей это не принято. Ночевали мы в общежитии приютившего нас за гроши рабочего ферейна, кормились, ни у кого не одолжаясь, в дешевой харчевне. И это вполне нас устраивало.

Из Штутгарта мы отправились в один из крупнейших центров русской политической эмиграции — Женеву. Побывали там у Г. В. Плеханова. Запаслись новинками революционной печати. Но сразу выяснили, что больше делать нам здесь нечего. Партийных организаторов, с которыми можно было договориться о возвращении в Россию на работу, мы здесь не нашли. Их надлежало искать в Лондоне или в Париже. Заработка нашему брату здесь тоже не предвиделось. И без нас тут голодных русских эмигрантов было слишком достаточно. Радужные представления о благах политической свободы демократии Запада начали быстро тускнеть и блекнуть. Приятно было, конечно, чувствовать себя свободными от назойливой полицейской опеки, но даже эта свобода в сочетании с безработицей и голодом теряла всю свою заманчивость. Нас порадовало было, что в Женеве даже сам шеф полиции — социал-демократ. Но мне лично показалось почему-то чудовищным такое совмещение профессий, хотя оно вполне отвечало духу швейцарской демократии мелких лавочников.

Учитывая нашу потребность в заработке, нам посоветовали сразу же перебраться в Париж. Однако, прибыв в столицу величайшей из буржуазных революций с ее лозунгами *свободы, равенства и братства*, я увидел здесь, к своему крайнему изумлению, эти вдохновляющие лозунги начертанными на стенах всех тюрем, казарм и полицейских участков. И должен признаться, что это сочетание показалось мне не менее отвратительным, чем швейцарские социал-демократы в ролях полицей-президентов.

Найти заработок в Париже мне удалось, впрочем, с первых же дней. Один из русских эмигрантов — Ю. Невзоров (Стеклов) порекомендовал меня в качестве наборщика во французскую типографию — для набора торговых реклам на славянских языках. Невзоров, сам выполнивший раньше эту работу в той же типографии, уверил, что это дело нехитрое. И действительно, я в несколько дней овладел новой профессией настолько, что мог прокормиться собственным заработком на сдельной работе, а через месяц-два зарабатывал уже 7—8 франков в день, не отставая от профессиональных наборщиков-французов. Набирал я одно и то же на русском, польском, чешском, сербском и болгарском языках, сам же выполняя роль корректора своего набора, и если не стал все же заправским славяноведом, то вину в этом лишь крайнюю бездарность и скрупулезное рекламирование текстов, подлежащих набору. Пришлось мне однажды принять участие и в одной забастовке рабочих данной типографии, в результате которой я заслужил лестную репутацию «воинствующего социалиста». Короткий рабочий день и нередкие перерывы в работе за отсутствием заказов позволяли мне заниматься и своими делами за пределами типографии.

Уже с первых дней пребывания в Париже я обежал немало его достопримечательностей. Обошел великолепные Большие Бульвары, Елисейские поля, Булонский лес, закончив этот первый беглый обзор видом Парижа с птичьего полета, или, говоря точнее, с высот воздушной башни Эйфеля на Марсовом поле. Подивился не раз мрачной

фантазии средневековья перед изумительной готикой Собора парижской Богоматери, из освященных стен которого так и выпирают во все стороны скульптурные образы греховных химер и устрашающих демонов, как будто именно в этом святилище нашедших для себя наиболее надежный приют и убежище. На площади Бастилии и в Пантеоне моим воображением овладевали величавые тени Дантона, Робеспьера, Марата, перед Стеной коммунаров на кладбище Пер-Ляшез я низко склонял голову, отдавая честь их светлой памяти. В Лувре, воздавая должное классическому искусству, я подолгу простоявал перед шедеврами резца и кисти. Особенно внимательно присматривался к безукоризненным формам Венеры Милосской, вспоминая замечательный очерк Гл. Успенского «Выпрямила». Но должен признаться, что холодные черты богини красоты не затронули глубин моего сердца. И, в частности, сокровища новейшего европейского искусства в Люксембургском музее доставили мне гораздо больше эстетических эмоций. Всем этим удовольствиям, впрочем, удавалось отдавать лишь немногие часы между делом, ибо на первом плане у меня были другие интересы.

Я много читал по истории революционного движения, посещал все политические митинги и доклады, прослушал, в частности, целый цикл лекций В. И. Ленина по аграрному вопросу в «Вольной русской школе», организованной в Париже М. М. Ковалевским, перезнакомился с большинством проживавших здесь эмигрантов и пополнял свои книжные знания по истории революционного движения в России путем личного общения с его старейшими деятелями. Здесь было тогда немало представителей старшего поколения времен «Народной воли». Например, Н. С. Русанов, А. И. Рубанович, из более молодых М. Р. Гоц, известный разоблачитель провокаторов, а впоследствии ярый контрреволюционер В. Л. Бурцев, лидер эсеров В. М. Чернов и многие другие. Из видных социал-демократов, помимо В. И. Ленина, который уже тогда на целую голову был выше всех других лидеров партии, я впервые познакомился здесь также с его соратниками по «Искре» Л. Мартовым (Ю. О. Цедербаумом) и Старовером (А. Н. Потресовым). Прослушал я не один доклад молодого тогда краснобая Троцкого (Л. Д. Бронштейна) и даже видел его на сцене в роли вора Васьки Пепла в известной пьесе М. Горького «На дне». Он весьма развязно произносил свою реплику о чести и совести.

— А куда они — честь, совесть? На ноги, вместо сапогов, не наденешь ни чести, ни совести...

Сапоги на нем были надеты хоть куда — бутылками. Но сыграл он свою роль вора, правду сказать, совсем бесталанно.

Нередко встречался я также в Париже с лидерами «Рабочего дела» — В. Н. Кричевским, Мартыновым (А. С. Пикером), В. Н. Иваньшиным, с членами группы «Борьба» Д. Гольдендахом (Рязановым), Ю. М. Невзоровым-Стекловым и Э. Л. Гуревичем (Смирновым), с редакторами журналов «Жизнь» — В. А. Пессе и «Свободы» — Л. Надеждиным (Е. О. Зеленским) и многими другими.

Завязал я также знакомства и кое с кем из молодых русских анархистов. С ними мне приходилось много спорить, но это были горячие революционеры и душевые люди, и с ними приятно было встречаться, даже не разделяя тех или иных их взглядов. Один из них — Н. И. Музиль — был, кстати, моим соучеником по Скопинскому реальному училищу. Припоминаю также симпатичную девушку М. Гольдсмит и уже раньше знакомого мне по студенческой забастовке 1899 г. бывшего горняка Н. Романова. Последний, между прочим, выкинул однажды такую штуку, явившись на товарищеский вечер-маскарад в оригинальном костюме, обвешанном номерами «Искры», во фригийском колпаке с заголовком «Искра» и такой примерно надписью:

— Я против Революционной России, против Рабочего Дела и Рабочей Мысли, против Борьбы и Свободы и вообще против Жизни и Освобождения.

Поскольку тогдашняя «Искра», действительно, в резко полемическом тоне выступала против всех перечисленных Романовым групп и течений, его острый каламбур нашел, конечно, широкий отклик и шумный успех у представителей этих течений. Правда, сторонники «Искры» зло отшучивались, заявляя, что автор каламбура в качестве последовательного глашатая «безначального анархизма» уже по своей должности вынужден обходиться *без царя в голове*, вот почему он и не мог обойтись без малоумных надписей на своем дурацком колпаке. Но, говоря без шуток, Романову нельзя было отказать в остроумии.

Поселившись конспирации ради под фамилией Днепровича в одной из глухих улиц Латинского квартала, невдалеке от Сорбонны, я снял там по дешевке целую квартирку, которая, впрочем, скоро вся заполнилась прибывающими в Париж земляками. Прибыла ко мне в качестве приятного сюрприза из Скопина и юная подруга моей жизни предприимчивая Соня. Приехал также к нам на учебу из Рязани общий наш приятель и большой оригинал Костя Шиловский. Его голова всегда была переполнена какими-либо творческими идеями из области физики и очередными изобретениями, вытекавшими из них. Мысля себя революционером, он и свои «изобретения» мечтал посвятить задачам революции. Иной раз его замыслы принимали при этом и вполне практический характер в этой области. Так, например, однажды, задумав наладить *массовый* транспорт социал-демократической литературы в селедочных бочках через Архангельск, он сам организовал первый опыт такой контрабанды. Все шло как по маслу. Но в последний момент, когда Костя явился получить свой груз, поднятая из трюма высоко над палубой проклятая бочка случайно сорвалась, грохнулась вниз, разбилась, вместо селедок из нее посыпались связки «Искры» и прочей нелегальщины. Костю, конечно, сцепали и засадили в Архангельскую тюрьму. Пользуясь, однако, своим личным обаянием, а также, кстати сказать, большими симпатиями романтической дщери начальника тюрьмы, он получил здесь ряд невероятных льгот и, улучив удобный момент, прыгнул среди белого дня за ограду тюрьмы и скрылся. Через несколько минут его преследовала целая свора тюремных церберов, готовых пристрелить его, как собаку. Добежав до ближайшего озера в чахлом кустарнике, Костя, однако, успел принять меры. Приготовив тростинку камыша для дыхания, он с приближением врага, по образцу древних славян, скрылся под водой и, дыша сквозь тростинку, переждал облаву, а затем бесследно исчез из Архангельска, благополучно вернувшись за границу. Здесь по воле судьбы и туберкулеза легких он и застрял на всю жизнь после описанной эпопеи. Отдавшись затем под руководством великого Ланжевена всецело науке, этот былой мечтатель и фантазер стал и сам незаурядным ее представителем. А в прошлом это был надежный друг, с которым легко жилось.

Питались мы в русской студенческой столовой на улице Сен-Жак, запивая дешевые обеды еще более дешевым французским вином по 30 сантимов, т. е. по 12 копеек за литр. Вращались почти всегда только в русской эмигрантской среде. Книги читали — тоже русские, предпочтая всем сокровищам Национальной библиотеки Парижа скромные собрания русской библиотеки имени И. С. Тургенева. И думали, конечно, проживая в «прекрасной» Франции, только о своей незадачливой родине и о скорейшем возвращении в Россию. Правда, каждый из нас считал своим долгом принять участие в общем марше всего пролетарского Парижа в день Коммуны на кладбище Пер-Ляшез. Не

упускали мы случая и послушать могучего народного трибуна Жореса на очередном рабочем митинге, подобно тому как проездом через Берлин мы слушали там Бебеля и Клару Цеткин. Охотно включались мы, осыпаемые градом конфетти и серпантина, и в красочные уличные карнавалы Парижа, полные «общей радости, цветов и веселья». Но во всех случаях мы все же чувствовали себя чужими в этой стране.

Парижане живут очень открыто. Они пьют и едят за столиками кафе, выдвинутыми прямо на улицу. Тут же, на улице, они вечерком танцуют или поют, окружив какого-нибудь странствующего музыканта. Музыкант любезно раздает за пару су всем желающим ноты и текст какой-нибудь очередной новинки, ее тут же, под аккомпанемент его старой скрипки, быстро разучивают... И, глядишь, через несколько минут уже вся улица уверенно и беспечно распевает:

— *Viens pourpoule, viens pourpoule, viens!..*¹

На несколько дней или часов такая новая песенка — до тех пор пока ее не сменит другая, не менее пустячная — становится *модной*, и ее напевает весь Париж. Парижане очень музыкальны. Меня всегда поражало присущее им чувство ритма и живость коллективных реакций на всякое внешнее воздействие. Сидите вы, например, в театре. Все тихо и мрачно вокруг. Но вот включается свет... и весь театр вдруг сразу, как бы единой грудью, испускает общий вздох облегчения: «А-а-х!» Точно так же в знак одобрения здешняя публика аплодирует в театре не врассыпную, как у нас, а в общем дружном ритме: раз-два, раз-два-три, раз-два, раз-два-три. Если на манифестации по колонне передается какой-нибудь лозунг, то опять-таки вся колонна подхватывает его в том же бодром ритме. Этот общий ритм борьбы и труда можно бы, вероятно, проследить и поглубже, но, наблюдая парижскую жизнь лишь мимоходом, со стороны, мы замечали только то, что само бросалось в глаза. Плохо владея французским языком, я и не пытался проникнуть в эту жизнь по-настоящему. Даже в театр я почти не заглядывал. А когда однажды заглянул на инсценировку «Воскресения» Л. Н. Толстого, исполненную в стиле сентиментальной мелодрамы «под развесистой клюквой», то и вовсе потерял вкус к повторению подобных опытов. Одно лишь я усвоил прочно, что Париж Жана Жореса и префекта полиции Лепина — это два совершенно различных Парижа и, чтобы ознакомиться с последним, не стоило слишком далеко удаляться из царской России.

Ажаны Лепина в своих изящных пелеринках и голубых кепи, избивая рабочих на парижских манифестациях, действовали, по моим наблюдениям, ничуть не уступая в этом отношении русской полиции. Да и честь им в рабочей среде была не лучшая. Рабочие нередко честили ажанов в глаза самыми оскорбительными для французского уха кличками: *Ле-шамо!*.. *Ля-ваш!*.. (т. е. *верблюд!*.. *корова!*..), отчего такие верблюды сразу же превращались в тигров, а коровы — в пантер, готовых живьем растерзать свои жертвы. Был я, между прочим, свидетелем и такого случая. После одной из манифестаций, на которой сильно попало от ажанов и кое-кому из русских ее участников, мы стояли группой перед открытой дверью в своей столовой на Сен-Жак. Мимо проходили поодиночке победоносные ажаны, тоже возвращаясь домой с манифестации. Стоявший рядом юный анархист, не утерпев, бросил одному заветное словечко: «*Ля-ваш!*..» Ажан даже скрипнул зубами, услышав это слово, схватил товарища за руку и вытащил его через порог на улицу. Анархисту угрожало избиение, а может быть, и высылка из Франции. Но мы, схватив его за другую

¹ Приди, куколка, приди, куколка, приди!

руку, моментально втащили обратно вместе с дюжим ажаном. И тогда последний сразу спрятал труса и, выпустив руку обидчика, вылетел пробкой от шампанского за дверь. Некоторые пытались съяснить столь поспешное отступление этого стражи «порядка» тем, что он боялся нарушить закон о неприкосновенности жилища без соответствующего мандата. Гораздо вернее, однако, что наши лица отнюдь не гарантировали ему его собственной неприкосновенности в этом жилище, независимо от всяких мандатов, и что он как раз вовремя учел это обстоятельство.

10. С НАПУТСТВИЕМ ИЛЬЧА

Париж Лепина не привлекал нас никакого, и мы давно готовились его покинуть. В эту «подготовку» я включил, между прочим, ближайшее ознакомление с техникой «печати» от гектографа и мимографа до примитивного типографского станка, что очень могло нам пригодиться в русском подполье. Малыми средствами я завел у себя на квартире все необходимое для миниатюрной подпольной типографии и с помощью Сони, практики ради, перевел, набрал и напечатал одну агитационную брошюру В. Либкнехта.

Сложнее было дело с идеологической подготовкой нашей работы в России. За границей шла подготовительная работа ко второму съезду партии. Повсюду горячо обсуждались выявившиеся внутрипартийные программные и тактические разногласия различных течений. Нужно было разобраться в них и самоопределиться. Примкнув в основном к позициям ленинской «Искры», я все же не мог отказаться и от некоторых особых мнений по ряду вопросов. Так, например, мне казался совершенно неприемлемым опубликованный в «Искре» проект аграрной программы партии. Требование возврата крестьянам отобранных у них помещиками еще в 1861 г. «отрезков» земли, на мой взгляд, ни в коем случае не могло удовлетворить нужду русской деревни в условиях крайне возросшего в ней за 40 лет малоземелья. А между тем, чтобы обеспечить необходимую поддержку деревней пролетарской революции, мы не могли игнорировать ее наиболее острых нужд. Особую позицию по сравнению с большинством других партийцев я занимал и в некоторых вопросах партийной стратегии и тактики, а в том числе и по вопросу об оценке индивидуального террора.

В вологодских дискуссиях с Савинковым я придерживался скептических оценок террора. Никак не мог я сойтись во взглядах на террор и с таким горячим его сторонником, как талантливый публицист Л. Надеждин. Но еще труднее было принять концепции таких его крайних противников, как, скажем, тогдашний Рязанов или Пессе, абсолютно отвергавших его совместимость с принципами пролетарской тактики и допустимость в революционном движении, как будто даже по моральным основаниям. Отнюдь не испытывая особой склонности к названному методу борьбы и совсем не переоценивая его устрашающей роли, ибо запугать им можно было лишь отдельных бесприципных трусов и негодяев, а на нашем пути стоял целый принципиально враждебный класс, я все же чувствовал, что, стремясь к диктатуре пролетариата, нельзя навязывать ему на все времена и сроки чересчур вегетарианские принципы его боевой тактики. На войне — как на войне. Надо быть готовым к решающим генеральным сражениям, но нельзя зарекаться и от аванпостных стычек патрулей. И в борьбе классов не все исчерпывается одними лишь массовыми его выступлениями. И здесь революционным актом мы признаем не только генеральную стачку и вооруженное восстание, но и выпуск подготовляющей их прокламаций, и ликвидацию опасного врага-провокатора, и